



**Лев ШЕСТОВ**

## **Апофеоз беспочвенности**

<фрагмент>

### **II**

В последнее время, когда вечные теоретические споры особенно обострили вопрос о происхождении аксиом, в философской литературе наблюдается чрезвычайно важное, на мой взгляд, даже знаменательное явление. В Германии целый ряд ученых-философов выступает с попыткой так называемой нормативной теории закона причинности<sup>1</sup>. Существенно нового в этом нет. Нормативная теория есть только своеобразная форма кантианства. Но здесь важно, что современные ученые считают необходимым особенно резко подчеркнуть те стороны кантовского учения, которые сам знаменитый основатель трансцендентального идеализма не находил нужным выдвигать на первый план. Связь науки с этикой у Канта ясна для всякого и помимо исследований его новейших учеников. Но у него, хоть он и признавал примат практического разума, закономерность явлений природы никогда не изображалась находящейся в прямой зависимости от наших этических требований. У него «закон» деспотически парил и над явлениями внешнего мира и над человеческой душой. Но этим вся связь исчерпывается. Природа и человек повинуются — Канту этого было вполне достаточно. Современные же мыслители — захотели ли они большего, или почувствовали, что сохранить позицию Канта в неприкосновенном виде уже невозможно, — пошли дальше. Они не признают независимого закона для теоретического разума — они его ставят под начало и контроль практического разума и делают попытки этического обоснования самостоятельной у Канта категории причинности. Вместе с Кантом они утверждают, что закономерность не свойственна явлениям внешнего мира, что ее туда приносит с собой человеческий разум, но

привносит не потому, что по неисповедимым судьбам он принужден волей-неволей выступать в этой, быть может, и очень низменной и двусмысленной полицейско-административной роли, а потому что эта роль есть высшая, самой моралью оправданная и освященная роль. А раз мораль появилась на сцену — шапки долой, дальнейших разговоров не полагается.

Теперь, быть может, читатель поймет, какой смысл и какое великое значение имел поход Ницше против морали. Немецкие философы, создавшие этическое обоснование закона причинности, шли своим путем и, вероятно, даже не подозревали о существовании Ницше. В свою очередь, Ницше, еще в 70-х годах оторвавшийся от университетской жизни, да и вообще мало интересовавшийся современными философскими учениями, вероятно, и не слышал ничего о новейших течениях в немецкой философии и менее всего мог думать, что занимается одним делом с официальными представителями этой науки. Правда, он занимался по-своему. В то время, когда в Германии напрягались все силы, чтобы поддержать падающий престиж закономерности, и бросали на карту последнюю и самую драгоценную ставку — мораль (больше уже нечем было рассчитываться), Ницше высказал неожиданное суждение, что расплата производится фальшивой монетой, что мораль сама требует оправдания и, стало быть, не может отвечать за науку. Этой мысли Ницше с желательной полнотой и отчетливостью нигде не формулировал. Я не уверен даже, что он ясно сознавал ее. По-видимому, он скорей инстинктом чуял, что с наукой до тех пор невозможно бороться, пока не будет свалена ее вечная и могучая союзница — мораль. Инстинкт, как мы видели, не обманул его. Теперь наиболее осторожные люди убеждаются, что основные предпосылки, аксиомы научного знания держатся только моралью. Такое признание было с их стороны преждевременным? Они не могли думать, что их тысячелетняя мораль потеряет когда-либо свое обаяние? Весьма возможно, но слово сказано и вряд ли когда-нибудь забудется. Толстой, Достоевский<sup>2</sup> и другие пытались восстановить против науки мораль — но их усилия в этом направлении оказались бесплодными. Нравственность и наука — родные сестры, родившиеся от одного общего отца, именуемого законом, или нормою. Временами они могут враждовать меж собой и даже ненавидеть одна другую, как это часто бывает между родными, но рано или поздно кровь скажется, и они примирятся непременно. Немцы это знают хорошо. У них везде — в школе, в армии, в морали, в полиции, в философии один высший принцип: порядок прежде все-

го. И спору нет — принцип полезный: стоит только вспомнить, какие блестящие победы на всевозможных поприщах одержали наши дисциплинированные соседи за самое короткое время. Еще недавно они стояли в хвосте европейской культуры, теперь они заявляют, и совершенно основательно, притязания на гегемонию. И если бы наука и мораль ставили себе только утилитарные задачи, нужно было бы признать, что они своего достигли. Но они, как известно, добиваются большего. Они хотят себе суверенных, верховных прав над человеческой душой, и тут снова является старый вопрос, которого, несмотря на все теории познания, человечество никогда не забывало и никогда не забудет. Снова спрашивают: в чем истина? Наука безмолвствует. Мораль, по привычке, оглушительно выкрикивает старые, потерявшие смысл слова. Но им уже мало кто верит.

### III

Мораль научна — наука моральна. Ясно, что теория познания проглядела нечто чрезвычайно существенное. Предпосылка критической философии: разум, в исследовании способности которого она полагает свою главную задачу, есть нечто неизменное, всегда себе равное, совершенно произвольна и ни на чем не основана. Вся уверенность Канта держалась только на его готовности объединить математику с естествознанием под одним общим именем науки. Но откуда такая готовность? Для человека беспристрастного, для человека принужденного быть беспристрастным, — ибо кто добровольно захочет отказаться от своих страстей и желаний? — тут только открывается во всей своей несомненности одно чрезвычайно важное обстоятельство. Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, — хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму. Канту нужно было остановиться, Канту больше всего в жизни нужен был отдых и конец — после того трудного перехода, на который вынудил его своим скептицизмом Юм. Но прямо признаться в своей человеческой слабости и сказать, как говорит всякий истомившийся путник: «Я устал и хочу отдохнуть, хотя бы на заблуждении, хотя бы на воображаемой вере в достигнутую цель», — с тех пор как существует философия, разве кто-либо из основа-

телей великих систем разрешал себе такую откровенность? Но и то сказать: кто хочет приобрести славу Александра Македонского<sup>3</sup> и покорить мир, не распутывает, а разрубает гордые узлы. Когда человек теряет способность и силы двигаться вперед, он начинает утверждать, что дошел до конца, что дальше идти некуда и не нужно, что пора остановиться и начать строить мировоззрение. Здесь, быть может, и кроется разгадка того, что каждое новое поколение выдумывает свои истины, нисколько не похожие на истины предыдущих поколений и даже не имеющие с ними никакой преемственной связи, хотя историки из сил выбиваются, чтобы доказать противное. Какая может быть связь и взаимное понимание между бодрым юношей, вступающим в жизнь, и усталым стариком, подводившим итоги своему прошлому? Да и усталость усталости рознь. Иной раз сон бежит от измученного непосильным трудом и долгим бдением человека, и, наоборот, как часто это капризное божество дарит своими благами ленивого и досужего бездельника. Вот тут-то и поди с рассуждениями о благотворности отдыха и необходимости концов! Какие бы строгие доказательства вы ни приводили, с какою бы уверенностью вы ни становились в позу Александра Македонского, в известных случаях вся ваша аргументация и весь пафос декламации будут потрачены даром. По воле судьбы этому человеку не до отдыха, не до сна. Прославлять сон и покой, говорить о нравственной обязательности сна и покоя пред человеком, для которого непрерывная бессонница и вечная внутренняя тревога стали почти второй природой, — разве может быть более бесцельный и плоский вид издевательства? Всякие концы и последние слова, даже прославленные метафизические утешения покажутся ему праздною и раздражающею болтовней. Если бы спросили его: «Куда ты идешь, на что ты надеешься?» — он, вероятно, ответил бы вам словами поэта:

*Je vais sans savoir où, j'attends sans savoir quoi\*.*

Неужели вы думаете, что этот человек захочет вместе с Кантом и кантианцами возвести в перл создания норму, закон, порядок, или, чтоб понять мир, он допустит какую-нибудь предпосылку, предлагаемую ему этикой? Да он вовсе и не ищет «понимания». Понять — это значит свести неизвестное к известному, но ведь все известное он видел, испытал, допросил, и от известного он бежал без оглядки. Если у него может быть ка-

---

\* Я иду неведомо куда, я жду неведомо чего (фр.).

кая-нибудь надежда, — то только в предположении, что неизвестное ничего общего с известным иметь не может, что даже известное не так уж известно, как это принято думать, и что, следовательно, все предпосылки и бесчисленные веры, которыми утешались отдельные лица и целые народы, были только обманчивыми иллюзиями, быть может, и не лишенными красоты, но недолговечными и далекими от действительности. В его терминологии слово «понять», а вместе с ним и слово «конец», вероятно, совсем отсутствуют. Разве нужно понять мир, разве нужно ограничивать наше познание мира тем, что мы уже испытали и узнали раньше? У него одно желание — идти вперед. Куда он придет, где найдет приют? Эти вопросы потеряли для него смысл. Он все больше и больше убеждается, что слова «покой», «приют» и другие, им равнозначные, далеко не имеют той ценности, по какой они котируются в философии. Какое право имеют люди ввиду того, что происходит на их глазах, утверждать, что последней целью нашего существования являются успокоенность и самоудовлетворенность? И что человеческий язык и тот человеческий опыт, для которого мы нашли уже соответствующие слова, достаточен для выяснения всех тайн жизни?

Все это может показаться не относящимся к делу. Мне заметят, что, когда возбуждаются философские вопросы, всякие лирические отступления несвоевременны, что их нужно отвести в область поэзии, что когда речь идет о законе причинности, то даже сам Шекспир<sup>4</sup> должен умолкнуть и только слушать, что ему говорят сведущие люди. Это было бы справедливо, если бы философы имели в своем распоряжении самостоятельные и независимые приемы исследования, если бы философы состояли из одних идей, а не из нервов и мускулов... Вошедшая в разговорку невозмутимость духа большинства представителей науки породила не только в публике, но и среди посвященных убеждение, что решающим моментом в суждении философа всегда являются сухие, объективные доводы. Да и темы его на вид таковы, что никакая «душа» не заинтересуется ими, хоть обещайте в награду личное бессмертие и магометанский рай со всеми его конкретными прелестями... Но, как я уже говорил, это чистейшее заблуждение. Философ знает усталость, которая какой угодно конец предпочитает слишком продолжительному скитанию. Философ больше, чем кто-нибудь другой, боится неясности и неопределенности и за одно отчетливое заблуждение отдаст вам целый десяток трансцендентных, но шатающихся истин. А как боится он колеблющейся, неверной почвы! По-

мните вы страстные мечтания Гейне на корабле во время качки  
о родной Германии?

...Immerhin, mag Thorheit und Unrecht  
Dich ganz bedecken, o Deutschland.  
Ich sehne mich dennoch, nach dir:  
Denn wenigstens bist du doch festes Land\*.

Не приходили ли те же мысли Канту, когда он читал рассуждения Юма, колебавшие основные принципы науки? Философ — человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Он любит большие, хорошо утопанные дороги, на которых легко и свободно движется теоретическая мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия. Лучше всего он чувствует себя на широком, выровненном плацу. Здесь, под удар барабана, можно смело пройти торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, не озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такта и давать как можно больше «ноги». Философ ценит только логическое мышление, т. е. беспечное движение по раз принятому направлению, ибо таким образом сила инерции не растрачивается на вечные оглядки, искания путей, на борьбу с «свободой воли» и ее постоянными спутниками — сомнениями. Правда, обыкновенно философ охотнее говорит о парении, чем о маршировке, и никогда не выставляет на вид, что логика, главный источник его сил, только по забывчивости до сих пор еще не сведена на очную ставку с законом инерции, одним из выражений которого она есть, была и будет. Но давно известно, что все люди питают слабость к высоким словам...

Я далеко не исчерпал всех привычек и вкусов ученого человека, но, полагаю, сказанного достаточно. Очевидно, он клеветает на себя, утверждая, что у него нет «души» и страстей, что он весь воплощенное стремление к отвлеченной истине, что его «убеждения» не коренятся в его психологии и что Шекспир не должен быть привлечен к обсуждению вопроса о законе причинности. Философ боится, радуется, любит, ненавидит, устает, потягивается, дремлет, даже спит — совсем как обыкновенные смертные, хотя имеет привычку употреблять слова и термины, непонятные и как будто бы даже чуждые непосвященным, даже для обозначения самых повседневных, чуть ли не физио-

\* Даже если вся ты, Германия,  
Будешь объята безумием и несправедливостью,  
Я все же буду тосковать по тебе,  
По крайней мере потому, что ты все-таки твердая земля

(нем., букв.).

логических своих отправлений. Основные предпосылки философии, ее аксиомы, стало быть, отнюдь не должны быть принимаемы за объективные утверждения. Спокойствие, ровность, холодность, равнодушие — тоже человеческие черты, которые, может быть, и способствуют приближению к истине, а, может быть, порождают неповоротливость и тяжеловесность, навсегда прикрепляющие человека к привычному месту и заранее осуждающие его на прочные и почтенные, но близорукие и ошибочные суждения. Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готов ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше. Он должен уметь держаться прямо и глядеть на небо, но он же должен, когда нужно, не побрезгать согнуться в три погибели и искать истину на земле. Если человек вам скажет: *scire est per causas scire \**, можете больше не сомневаться: он уже не существует для философии, и философия не существует для него. Давно пора бросить старые предрассудки и открыто заявить: *per causas scire est nescire \*\**. И тут, пожалуй, Шекспир пригодится. Он расскажет вам, что есть неизвестное, которое никоим образом не может и не должно быть сведено к известному. Что порядок, о котором мечтают философы, существует только в классных комнатах, что твердая почва рано или поздно уходит из-под ног человека и что после того человек все-таки продолжает жить без почвы или с вечно колеблющейся под ногами почвой, и что тогда он перестает «считать аксиомы научного познания истинами, не требующими доказательств, что он перестает их считать истинами и называет ложью. И что мораль, если только можно, не играя словами, назвать моральным его отношение к миру и людям, называет знание по причинам самым несовершенным знанием. Его девиз: апофеоз беспочвенности... Но «философ» давно уже не слушает. Все лучше, чем беспочвенность. Много грязи, пошлости, гадости и глупости в тебе, Германия, —

Wenigstens bist du doch festes Land \*\*\*.



\* Знание есть знание (лат.).

\*\* Знание есть незнание (лат.).

\*\*\* По крайней мере ты все-таки твердая земля (нем., букв.).